

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



На сполье, где город упирался в перелесок, стоял покосившийся одноэтажный дом. На крыше вывеска:

СТОЙ. ПРУЛНА.
СТРЫЖОМ, БРЭИМ, ПЕРВЫ ЗОРТ

Хозяин этой цирюльни, горец Ибрагим-Оглы, целыми днями лежал на боку или где-нибудь шлялся, и только лишь вечером в его мастерскую заглядывал разный люд.

Кроме искусства ловко стричь и брить, Ибрагим-Оглы известен пьющему люду городских окраин как человек, у которого в любое время найдешь запас водки. Вечером у Ибрагима клуб: пропившиеся двадцатники — так звали здесь чиновников, — мастеровщина-матушка, какое-нибудь забулдыжное лицо духовного звания, старьевщики, карманники, цыгане; да мало ли какого народу находило отраду под гостеприимным кровом Ибрагима-Оглы. А за последнее время стали захаживать к нему кое-кто из учащих. Отнюдь не дешевизна водки прельщала их, а любопытный облик хозяина, этого разбойника, каторжника. Пушкин, Лермонтов, Толстой — впечатления свежи, яркие, сказочные торцы бегут со страниц и манят юные мечты в романтическую даль, в ущелья, под чинары. Ну как тут не зайти к Ибрагиму-Оглы? Ведь это ж сам таинственный дьявол с Кавказских гор. В плечах широк, в талии тонок, и алый бешмет как пламя. А глаза, а хохлатые черные брови: взглянет построже — убьет. Вот черт!

Но посмотрите на его улыбку, какой он добрый, этот Ибрагим. Ухмыльнется, тряхнет плечами, ударит ладонь в ладонь: «Алля-алля-гей!» — да как бросится под музыку лезгинку танцевать. Вот тогда вы полюбуйтесь Ибрагимом...

Заглядывал сюда с товарищами и Прохор Громов.

Оркестр давно закончил последний марш, трубы остыли, и турецкий барабан пьет теперь в трактире сиводрал. Сад быстро стал

пустеть. Дремучий, вековой, огромный: нередко в его трущобах даже среди бела дня бывали кровавые убийства. Скорее по домам — мрачнел осенний поздний вечер.

Проход Громов, ученик гимназии, сдвинул на затылок фуражку и тоже направился к выходу.

Вдали гудел отчаянный многоголосый крик, словно гряла на отлете стая грачей. Проход Громов остановился: «Драка» — и он припустился на голоса прямиком, через клумбы цветов и мочажины.

— Бей!

Он трснул по голове бежавшего ему навстречу мальчика. Опытным глазом забияки он быстро окинул поле битвы: на площадке, где обычно играла музыка, шел горячий бой между «семинарами» и «гимназерами». К той и другой стороне приставали мещане, хулиганы, всякий сброд.

— Ура! Ура!

— Гони кутью в болото!

— Ребята!.. наших бьют!..

Проход Громов выхватил перочинный нож и марш-марш за удиравшими. В нем все играло диким озорством, захватывало дух. Рядом с ним неслись кулачники, где-то пересвистывались полицейские, трещали трещотки караульных, лаяли псы.

— Полиция! — И все врасыпную. — Лезь по деревьям!..

Но буйный нож Прохода, наметив жертву, уже не мог остановиться. Проход на бегу полоснул парня ножом. И сразу отрезвел.

— Полиция!.. — с гамом мелькали возле него пролетающие тени. — Айда наутек!

Проход Громов вскочил на решетку и, разодрав об железо шинель, перепрыгнул.

— Ага! Есть! С ножом, дьяволенок! — стрёб его в охапку полицейский, но он, как налим, выскользнул из рук и — стремглав вдоль улиц.

— Жулик! Имай! Держи!

Но Проход юркнул в темный проулок, притаился. Закурил. На правой руке кровь.

«А где ж картуз?» — И сердце его сжалось. Новая его фуражка с четкою надписью на козырьке «Проход Громов», очевидно, попала в руки полицейских. Проход перестал дышать. Он уже слышит грозный окрик директора гимназии, видит умирающего парня, полицию, тюрьму. «Боже мой! Что ж делать?..»

— К Ибрагиму!

Да, к Ибрагиму-Оглы. Он спасет, он выручит. Ибрагим все может. И Прохор, вздохнув, повеселел.

Он отворил дверь и задержался у порога. В комнате человек пять его товарищей, гимназистов. Ибрагим правил бритву, что-то врал веселое: гимназисты хохотали.

Прохор поманил Ибрагима, вместе с ним вышел в соседнюю комнату, притворил дверь. Чуть не плача, стал рассказывать. Он ходил взад-вперед, губы его прыгали, руки скручивали и раскручивали кончик ремня. У Ибрагима черные глаза загорались.

Я за ним... Он от меня... Я выхватил нож...

— Маладэц! Далшэ...

— Я его вгорячах ножом... — упавшим голосом сказал Прохор.

— Цх! Зарэзал?.. — радостно вскричал черкес.

— Нет, ранил...

— Дурак!

— Я его тихонько... перочинным ножичком, маленьким, — оправдывался Прохор.

— Дурак! Кынжал надо... Вот, на!.. — Горец сорвал со стены в богатой оправе кинжал и подал Прохору. — Подарка!

— Да что ты, Ибрагим... — сквозь слезы проговорил Прохор. — Меня исключат... Ты посоветуй... как быть?.. — Он опустил на табурет, сгорбился. — Главное, фуражка... По фуражке узнают...

— Плевать! Товарища-кунака защищал, себя защищал. Рэзать нада! Трусить нэ нада... Джигит будэшь!..

На громкий его голос один за другим входили гимназисты.

— Ружье тьфу! Кынжал — самый друг, самый кунак!.. — крутил горец сверкающим кинжалом. — Ночью Капказ едем свой сакля. Лес, луна, горы... Вижу — бэлый чалвэк на дороге. Крычу — стоит, еще крычу — стоит, третий раз — стоит... Снымаим винтовка, стрэляим — стоит... Схватыл кынжал в зубы, палзем... подпалзаим... Размахнулся — раз! Глядим — бабья рубаха на веревке. Цх!

Все засмеялись, но Прохор лишь печально улыбнулся и вздохнул. Ибрагим сел на пол, сложил ноги калачиком, потом вдруг вскочил.

— Ну, не хнычь... Все справим... Идем! Кажи, гдэ?

Прохор пошел за Ибрагимом.

— Стой, — остановился тот. — Дэнги нада, платить нада. Полиций бэгать. Гимназий бэгать... Дырэхтур стрычь-брыть дарам... не бойся... Ибрагишка все может.

Он рылся в карманах, лазил в стол, в сундук, вытаскивал оттуда деньги и засовывал их за голенища своих чувяков.

— Айда!

Лето дряхлело. После жаров вдруг дыхнуло холодом. Завыл густой осенний ветер. С севера тащились сизые, в седых лохмах, тучи. Печаль охватила зеленый мир. Тучи ползут и ползут, льют холодным дождем, грозят снегом. Потом упрутся в край небес, остановятся над тайгой и с тоски, что не увидать их полдневных стран, плачут без конца, пока не изойдут слезами.

Заимка Громовых что крепость: вся обнесена сплошным бревенчатым частоколом. Верхушки бревен заострены, окованы, как копья: лихому человеку не перемахнуть. Ворота грузные, в железных лапах. Вход в них порос травой; они, должно быть, редко отмыкались. Рядом с воротами — высокая калитка, чтоб можно было проехать всаднику. В стене прорублены дозорины. Два сторожа смену держат, все кругом видят. А что за высокой стеной — с воли не видеть. Вот если залезть на вершину сосны, что стоит на краю поляны, да раздвинуть ветки, увидишь: в середине бревенчатого четырехугольника красуется просторный, приземистый, под железом, дом. Он в прошлом году срублен. А раньше жили вот в том, посеревшем от времени, флигеле, что прячется за домом. А еще раньше, когда дедушка Данило Громов на это место сел, он жил с женой в маленькой хибарке. Ее тоже берегут, не ломают: пусть внуки-правнуки ведают, посматривая на покосившуюся черную избенку с кустом бузины на крыше, с чего начал дед и до каких хором своими руками достукался.

Откуда пришел сюда Данило Прохорыч почти семьдесят пять лет тому назад — никто не знал.

— Какое кому дело?.. Пришел, да и весь сказ... Из берлоги вылез, — говаривал старик.

И верно. Сначала один, как медведь, корежил тайгу, потом сына Петра поднял. Мельницу-мутовку на речке сделали, пушнину у звероловов скупали, копейку берегли.

И чрез черный труд, чрез плутни, живодерство, скупость постепенно перекочевывали из хибарки во флигель, из флигеля в просторный новый дом.

А теперь весь сухой, в позеленевшей бороде, лысый, но с прежним орлиным взглядом, древний Данило лежал на кровати, под ситцевым пологом.

Ночь была.

— Петька! — позвал он сына. — Петька! Да встань ты, встань... — И закашлялся и зашептал молитву.

В соседней комнате скрипнула кровать.

— Бегу, батюшка! — И в одном белье, босиком шагнул к Даниле чернобородый, лохматый Петр.

— Зажги лампадку.

Петр, что-то бормоча, тревожно зажег лампадку: час был неурочный.

— Подь сюда... Умираю...

У Петра сердце ударило в грудь, сладко замерло, быстро забилось: наконец-то родитель в одночасье сделает сына богачом.

— Петя, — старик взял его за руку. — Вот и конец... вот и...

Петр вздохнул и пристально поглядел в орлиные глаза его.

— Ничего, батюшка. Может, еще...

— Нет, сынок... Крышка... — Старик тяжело задышал. — Ох, да-кось воды... Помочи голову. — Он взглянул на колыхавшийся огонек лампадки и перекрестился. — Прости, Заступница-Богородица... Вот, Петька, ты теперь один останешься. Ну, прости меня, душегуба. Разбойник я... Деньги там... Сосну с развилиной знаешь у Зуева болота?.. Ну, отмерь на закат двадцать два шага, камнице найдешь... От камница три печатных сажени влево: тут...

Петр затаил дыхание, глаза его жадно заблестели, золотой звяк разыграл в ушах.

— На добрые дела... на упокой души... А то погибель мне будет: там не простится, с вас зыщется, с тебя, с Прощки, со всего кореню нашего... Церковь сделай... Бедным... богаделенку построй какую... Слышишь?

— Слышу, батюшка... Сполню...

— Перекрестись... Встань на колени... Клянись...

Петр дал клятву. Потом спросил:

— А сколько, батюшка... всего-то?

— Много, Петька... Ох, большой у меня камень на душе... Убиец я... Не одну душу загубил...

— Кого же ты?

— Ну, чего там... Ну... вот опосля скажу. Отходить когда буду... в тот свет... теперича еще, может, оклемаюсь. Буди Марью. Зови Прощку. Да-а... ведь он в науке... Зря... Не надо бы. Зови попа... Пусть Гараська верхом смахает в Медведево... Стой! стой! Подожди-ка... Ну ладно... Покличь Марью...

Петр плохо понимал, что говорил отец. Пред его глазами стояла сосна, серел покрытый мхом вросший в землю камень, блестели и сладко позванивали червонцы, а дальше... разливным морем бурлила вольная жизнь-услада.

Петр наскоро чмокнул отца в холодный лоб, брезгливо отер губы и тряхнул головой:

— Батюшка, благослови.

— Бог тебя благословит. Иди покличь.

Петр расставил локти, благодарно взглянул на лучистый огонек у образов и радостно зашлепал босыми ногами по крашеному полу.

— Марья, батюшка зовет! Вставай!.. — потрепал по плечу жону. — Ну, шевелись...

— Чего такое? — поднялась та, щурясь на зажженную свечу. — А ты куда это?

— А куда надо... за попом, — бросил Петр, вытаскивая из-под кровати болотные сапоги и суетливо обуваясь. — Черти... Смазать не могли. Как дерево, твердые, не лезут... Дьяволы!

Петр стучал грузными сапогами, отыскивал пиджак. Скорей... Проверить... Он отлично помнит этот камень, много раз отдыхал на нем во время охоты.

«Господи! А вдруг да кто-нибудь нашел?» Терзаясь неизвестностью: богач он или так себе, ни в тех ни в сех, — он спустился с крыльца во двор и покликнул Шарика. Тот подкатился к нему серым комом, заюлил возле ног и, обнюхав болотные сапоги, вопросительно взглянул на пустые руки: а где ружье?

— Лука, отопр-ка, — сказал Петр караульному, — с батюшкой чегой-то худо...

— А сам-то куда?

— Да тут, недалече, — смутился Петр и нахлобучил шляпу. — Слушай-ка, Лука. Ты шагай-ка, парень, на кухню. Может, от хозяйки наказ какой выйдет. За попом али что. Ежели за попом — Гараську пошли, пусть Каурку заседлает, а под попа — Сивку.

— Плох, говоришь, старик-то?

— Плох.

Белобрысый маленький горбун Лука, жалеючи, почмокал губами, сдернул мокрую шапку и перекрестился.

Петр быстро шагал знакомой тропой. Шарик бежал впереди. Мелкий дождь упорно поливал тайгу. Утопанная тропинка была скользка. Фонарь светил тускло, и Петр раза два наткнулся лицом на сучья.

Он спустился в глухую балку и перешел вброд шумливый поток. Путь сделался труднее, без тропы. Пробираясь сквозь чащу,

Петр чутьем, как волк, отыскивал направление. Он шел через тьму напролом, потрескивая сухим хворостом. Мысль его усиленно работала, весь он был в зыбком угаре. Он то становился выше ростом, шире в плечах: тогда перед ним вставала богатая, еще не изведанная жизнь на виду у всех, чтоб про него гул на земле катился, чтоб трубы трубили, колокола бухали. То вдруг мечты проваливались в яму: вновь делался он маленьким-маленьким, его жизнь замыкалась навеки в бревенчатом частоколе, что опоясал колдовской чертой их таежную заимку.

Петр приподнял фонарь и водил им кругом, соображая, куда идти.

«Ага! Зуево болото. — Он огладил Шарика, пошел напрямиком. — Вот и сосна».

Он отыскал обомшелый, тот самый, камень, отсчитал три сажени влево. Разгреб пласт хвои с перегноем и стал копать.

Шарик посовал носом в пахучую раненую землю, посмотрел на хозяина и тоже принялся скрести передними лапами, откидывая назад большие комья. Петр взял лом и прощупал яму во всех углах. Лом глубоко уходил в грунт. Пусто. Стал копать в другом месте. Пусто. Петра брало нетерпение. Однако он выбился из сил, подошел к камню, сел и закурил трубку. Сердце его ныло, фонарь остался на сосне, вдали, а здесь, у камня, тьма. Петр посмотрел туда: ему показалось, что фонарь покачивается, а ветра нет.

— Шарик! — крикнул он и посвистал.

Кто-то слегка ткнул его повыше пятки. Петр вскочил.

— Ты?

Шарик ластился к нему. Фонарь теперь висел неподвижно, но железная лопата там, в яме, цокает о землю и скрипит. Петра затрясло.

«Черти роют... Заклятый клад...» — подумал он.

В яме копошилось серое, седое.

— Шарик! Узы! Узы!

И Петр как сумасшедший бросился к яме. «Надо говорить, надо кричать... А то жуть».

Шершавым голосом твердил вслух, ковыряя землю:

— Ай да дедушка Данило!.. Вот так это отец! Ничего, ладно... Душегуб... А? Ну и хорошая наша порода! Шарик, как ты полагаешь? А? Дедушка-то, Данило-то? Знаешь, который костей-то тебе после обеда выносил?.. Чудно... А посмотреть — святитель, станови в иконстас... Копай! Чего лежишь... Шарик!

Но пес, вытянув лапы, смиренно лежал и чужими, бесовскими глазами смотрел хозяину в лицо.

— Ну! Ты! — с испугом крикнул на собаку Петр. — Смотри вселей!

Кругом тьма, жуть. Петр все чаще озирался по сторонам. Кто-то окликает его, ухает, посвистывает, кто-то в дерево ударил. Дождь холодными струйками стекал со шляпы за ворот. Петр терял терпение. Лопата на что-то натыкалась, глухо звуча. Петр то и дело подносил фонарь и со злобой видел лишь толстые перевившиеся, как змеи, корни со свежими на них белыми ранами.

— Не здесь.

Он вновь тщательно отмерил три сажени и стал рыть чуть по правее.

В тайных глазах собаки сверкнул огонь. «Батюшки, да ведь это не Шарик... Ведь это сатана!..» По спине мороз.

— Шарик!.. Ты?!

Но тот, торчком поставив уши, шагнул вперед и заворчал на тьму... Послышался чуть внятный крик:

— А-а-ааа...

Собака оцетинилась, подняла нос и, втягивая сырой воздух, осторожно пошла верхним чутьем на смолкший голос.

— Господи Христе... — встревожился Петр. — А ведь это сатана застращивает...

— А-а-ааа, — вновь почудилось из тьмы, и где-то твякнул Шарик.

Петр насторожился, переступил ногами: в сапогах жмыхала вода.

«Запугать хочет...» — Он вытащил из-под рубахи крест.

— Ну-ка... С нами Бог! — поплевал на руки, расставил ноги и со всего маху, крикнув, долбанул ломом землю. Звякнул металл. Припрыгнув, Петр ударил немного правее.

— С нами Бог! — Лом вновь стукнулся о металл и соскользнул.

Забыв про холод, Петр сбросил пиджак и в одной рубахе, напрягая сильные мускулы, швырял землю, как мягкий пух.

— А ну! А ну!

Мрак серел. Занималось пасмурное утро. Петр спустился в яму и, разгребая руками черную грязь, едва выворотил из земли большой котел.

— Ху-ууу!.. — взвыл он и вытащил из котла кожаную суму. Он потряхнул — сума звякнула.

— Золото...

Его руки плясали, лицо улыбалось. На него, виляя хвостом, удивленно смотрел Шарик.

— Шарик!.. Шаринька!.. Эва! Видал?!

Он схватил его в охапку и стал крутиться с ним возле ямы. Стиснутый пес кряхтел, молот хвостом. А Петр притопывал, ухал, подсвистывал и хохотал.

— Папаша!.. Что ты!..

Петр врос в землю. Перед ним стоял всадник. Поодаль, в сереющей мгле, всхрапывала лошадь.

— Папашенька... Это я... — сказал Прохор. Он соскочил с седла и несмело стал подходить к тяжело пыхтевшему, чуть попятившемуся от него отцу.

Вдруг отец резко нагнулся и выхватил из-за голенища нож.

— Убью!! — как медведь на дыбах, он встал возле сумы, сверкал ножом и тяжело, с присвистом, дышал. — Проходи, проходи!.. Не отдам... Эва!.. Крест... Рассыпсь! Фу!!

— Да что ты, папаша!.. — испугавшись, плаксиво крикнул сын.

— Прощка? ты?!

— Я... Ночевали тут. Заблудились... Ты чего в грязи?

— Так, Прощка... Ничего... Ну, айда домой!.. Дедушка Данило хворает... Плох. А ты пошто приехал?

— Исключили меня... уволили.

Дома они узнали, что их отец и дед, древний Данило, преставился в ночи.

3

Торговое село Медведево стояло при реке.

Петр Громов перебрался с семьей сюда. Он живо выстроил двухэтажный дом со светелкой, открыл торговлю.

Прохору очень нравилась кипучая работа. Он разбивал рулеткой план дома, ездил с мужиками в лес, вел табеля рабочим и, не смотря на свои семнадцать лет, был правой рукой отца.

— Ну, Прощка, далеко пойдешь, — говорил он сыну.

— А как же, папаша, насчет гимназии-то?

— Ну, чего там... дома выучишься... У меня другое в голове.

Он любовно осматривал Прохора, его тонкую, высокую фигуру, орлиный, из-под густых бровей взгляд и думал: «Весь в дедушку Данилу».

Проход всегда в деле. Улица, катанье с гор, масленичные веселые дни, посиделки с девками не тянули его. В лавке, в тайге с ружьем, во дворе при доме — Проход всегда у дела.

Он все старался воду в баню провести при посредстве архимедова винта, как в книжке вычитал, да не сумел. Тогда стал от дровяного склада железную дорогу строить, чтоб можно было в дом дрова возить.

Он много читал, брал книги у священника, у писаря, у политических ссыльных, и прочитанное крепко западало в его голову.

Однажды, перед весной, отец сказал за чаем:

— Проход, вот что, брат... Возьми-ка ты человека да собирайся на Угрюм-реку... Слышал?

— Надо, папаша, карту...

— Какую еще карту?... Дай-ка сюда лист бумаги, я тебе срисую... Хотя сам сроду не бывал там, а от бывалых людей слыхивал.

Марья Кирилловна переводила от сына к мужу испуганный взгляд свой и вздыхала.

— Пофыркай!.. — пригрозил ей Петр. — Раз решено, значит basta. — Он послушил карандаш и неловко провел по бумаге черту. — Вот это, скажем, дорога от нас в Дылдино, двести сорок верст... Отсюда свернешь на Фролку — верст триста с гаком. Тут река Большой Поток предвидится. Отсюда перемахнешь через волок на Угрюм-реку, в самую вершину.

Купец поставил крест и сказал:

— Это деревня Подволочная на Угрюм-реке. Там построишь плот либо купишь большую лодку — шитик называется, — сухарей засушишь... Да там тебе укажут мужики, что надо. А весной по большой воде поплывешь вниз.

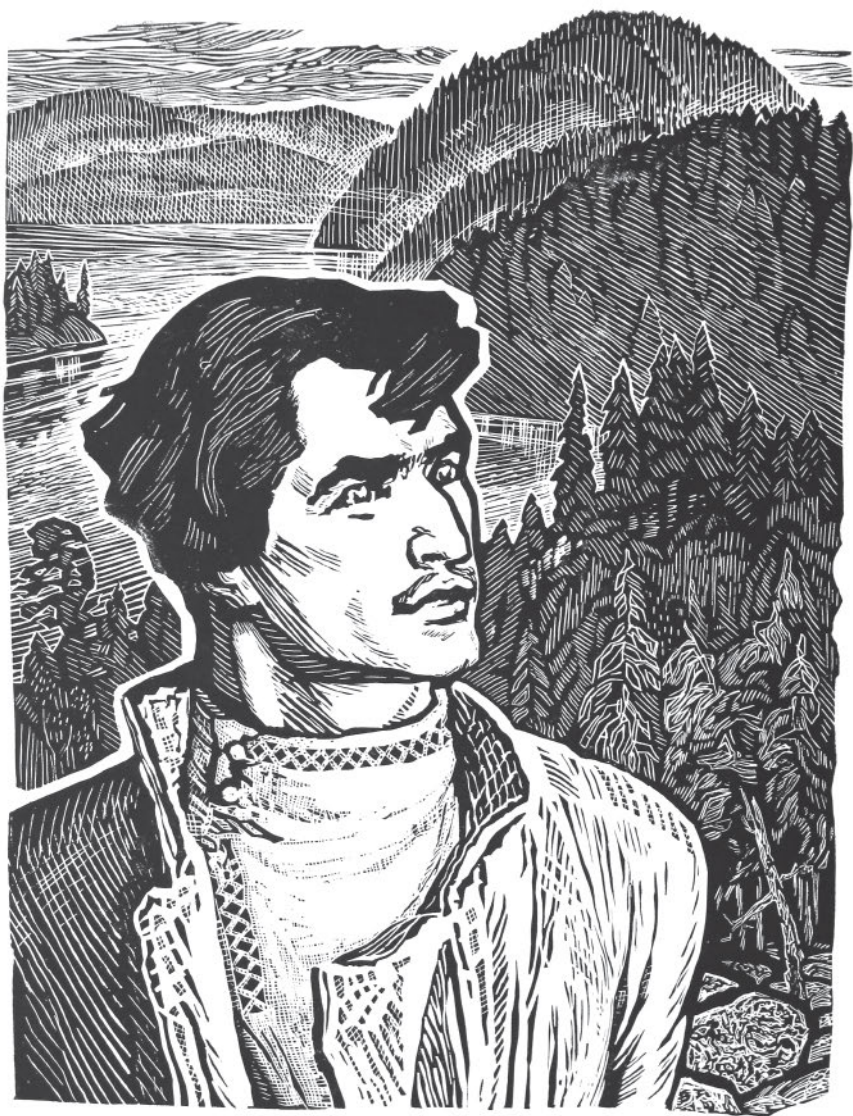
— Зачем, папаша? — спросил Проход и взглянул на мать. Из ее глаз текли слезы. — Зачем же мне туда ехать?

— Ну, это не твое дело. Слушай.

И целый час объяснял Проходу, что он должен делать.

— Река большая... слышал я — три тыщи верст. Она впала в самую огромную речичу, а та — прямо в окяин. Тунгусы, якуты по ней. Там большие капиталы приобрести можно... Будут встречаться торговцы в деревнях — всех расспрашивай и все записывай в книжку. А язык за зубами — кто ты таков, по какому случаю... А просто проезжающий. Ну вот, милячок, опасности тебе много будет... А может, и погибнешь, не дай боже... Это к тому, что остерегайся, ухо остро держи.

— Не пуцу... не пуцу!.. — заверещала мать и притянула к себе сына. — Прошенька ты мой, ангел ты мой!..



Петр резко постучал торцом карандаша в столешницу.

— Будя-а-а!..

Мать выпустила Прохора и, горько заплакав, ушла.

Прохор дрожал. Ему хотелось кинуться, утешить мать, но отец взял его за рукав и усадил возле.

— Ух! — выдохнул отец. — Не слушай баб, не обращай внимания... Иди напролом, никого не бойся, человеком будешь.

— Папаша, а можно мне с собой одного знакомого захватить... Мы с ним вдвоем...

— Кто такой?..

Прохор, волнуясь, рассказал ему о горце. Мать у Ибрагима черкешенка, отец турок, а сам Ибрагим-Оглы называет себя черкесом.

— Верный, говоришь? Так, правильно. Этот народ — либо первый живорез, либо друг лучше собаки... Валяй!

Прохор повеселел и тут же написал Ибрагиму письмо: «Будешь служить у нас... Папаша положит хорошее жалованье».

Начались сборы. Мать чинила белье, сушила пшеничные сухари, готовила впрок пельмени. Скрепя сердце она примирилась с отъездом сына. Петр старался внушить ей, что в коммерческом деле без риска нельзя.

— Вспомни-ка дедушку Данилу, родителя моего... Двадцать раз у смерти в зубах был, а, слава богу, почитай, до ста лет дожил...

Марья Кирилловна успокоилась.

Дорога еще не рухнула, стояли последние морозы, приближался март. Вдруг среди ночи громко залились собаки.

«Ибрагим», — подумал Прохор и сквозь двойные рамы услышал:

— Отворяй!.. Нэ пустишь — через стѣна перемахнем, всех собак зарѣжим, тебя зарѣжим!..

— Ибрагим! — радостно крикнул Прохор, сунул ноги в валенки и выскочил на двор в накинutom бешмете.

— Ну, Прощка, вот и мы... — обнял его горец. — Спасибо, Прощка. Моя все бросал, тайгам любим, слабодный жизнь любим... Ничего. Прощка, едѣм... Живой будѣшь...

Отцу с матерью Ибрагим-Оглы понравился. Его разбойничий облик не испугал их: много в тайге всякого народа приходится встречать.

Промелькнула неделя.

— Вот, Ибрагим, — сказал ему Петр, — доверяю тебе сына... Я про тебя в городе слышал... Можешь ли быть вроде как телохранителем?

— Умру! — захлебнувшись чувством преданности, взвизгнул горец. — Ежели доверяешь, здохнэм, а нэ выдам... Крайность придет — всех зарэжим, его спасем... Цх! Давай руку; давай, хозяин, руку. Ну! Будем кунаки...

Чай пили в кухне, попросту, как при дедушке Даниле, — хозяева и работники вместе. Кухня просторная, светлая, стол широкий, придвинутый в передний угол, к лавкам, идущим вдоль стены.

Ярко топилась печь. Кухарка, краснощекая Варварушка, едва успевала подавать пышные оладьи. Масло лилось рекой. Вкусно любили поесть хозяева, да и приказчики с рабочими не отставали.

А хозяйка, Марья Кирилловна, поощрительно покрикивала:

— Ребята, макайте в мед-то!.. С медом-то оладьи лучше... Ибрагимушка, кушай. Варварушка, садись...

Ибрагим пил чай до шестого пота. Он всегда угрюм и молчалив. Но сегодня распоясался: хозяин оказал ему полное доверие, почет.

Ибрагим, обтирая рукавом синего бешмета свой потный череп, говорил:

— Совсэм зря... каторгу гнали...

— За что? — враз спросила вся застолица.

Ибрагим провел по усам рукой, икнул и начал:

— Совсэм зря... Сидым свой сакля, пьем чай. Прибежал один джигит: «Ибрагим, вставай, твоя брат зарэзан!» Сидым, пьем. Еще джигит прибежал: «Вставай, другой брат рэзан!» Сидым, пьем. Третий прибежал: «Бросай скорей чай, твоя сестра зарэзан!» Тогда моя вскочил, — он сорвался с места и кинулся на середину кухни, — кинжал в зубы, из сакля вон, сам всех кончал, семерым башкам рубил! Вот так! — Черкес выхватил кинжал и сек им воздух, скрипя зубами.

Все, разинув рот, уставились в дико искажившееся лицо горца.

Вскоре Прохор с телохранителем отправился в безвестный дальний путь.

4

Петр Громов после смерти родителя зажил широко.

— Все время на цепи сидел, как шавка... Раскататься надо, мошной тряхнуть...

И в день Марии Египетской именины своей жены справил на славу. Поздравил ее после обедни и не упустил сказать:

— Ты все-таки не подумай, что тебя ради будет пир горой... А просто так, из амбиции...

Гости толклись весь день. Не успев как следует проспаться, вечером вновь явились — полон дом.

Мария Кирилловна хлопотала на кухне, гостей чествовал хозяин.

Зала — довольно просторная комната в пестрых обоях, потолок расписан петухами и цветочками, а в середине — рожа Вельзевула, в разинутый рот ввинчен крюк, поддерживающий лампу со стеклянными висюльками.

Посреди залы — огромный круглый стол; к нему придвинут поменьше — четырехугольный, специально для «винной батареи», как выражался господин пристав — почетнейший гость, из штрафных офицеров, грудь колесом, огромные усы вразлет.

— Ну вот, гуляйте-ка к столу, гуляйте! — посмеиваясь и подталкивая гостей, распорядился хозяин в синей, толстого сукна поддевке. — Отец Ипат, лафитцу! Кисленького. Получайте...

— Мне попроще. — И священник, елозя рукавом рясы по маринованным рыжикам, тянется к графину.

— А ты сначала виноградного, а потом и всероссийского проствейна, — шутит хозяин. — А то ершахвати, водки да лафитцу.

— Поди ты к монаху в пазуху, — острит священник. — Чего ради? А впрочем... — Он смешал в чайном стакане водку с коньяком. — Ну, дай бог! — И, не моргнув глазом, выпил. — Зело борзо!

Старшина с брюшком, борода темно-рыжая, лопатой, хихикнул и сказал:

— До чего вы крепки, отец Ипат, Бог вас храни... Даже удивительно.

— А что?

— Я бы, простите, бога ради, не мог. Я бы тут и окочурился.

— Привычка... А потом — натура. У меня папаша от запоя помере. Чуешь?

— Ай-яяй!.. Царство им небесное, — перекрестился старшина, взглянув на лампадку перед кивотом, и хлопнул рюмку перцовки. — С именинницей, Петр Данилыч!

— Кушайте во славу... Господин пристав! Чур, не отставать...

— Что вы!.. Я уже третью...

— Какой там, к шуту, счет... Иван Кондратьич, а ты чего?.. А еще писарем считаешься.

— Пожалуйста, не сомневайтесь... Мы свое дело туго знаем, — ответил писарь, высокий, чахоточный, с маленькой бородкой; шея у него — в аршин.

Было несколько зажиточных крестьян с женами. Все жены — с большими животами, «в тягостях». Крестьяне сначала конфузились станového, щелкали кедровые орехи и семечки; потом, когда

пристав пропустил десятую и, чуть обалдев, превратился в веселого теленка, крестьяне стали поразвязней, «дергали» рюмку за рюмкой, от них не отставали и беременные жены.

Самая замечательная из всех гостей, конечно, Анфиса Петровна Козырева, молодая вдова, красавица, когда-то служившая у покойного Данилы в горничных девчонках, а впоследствии вышедшая за ротного вахмистра лейб-гусарского его величества полка Антипа Дегтярева, внезапно умершего от неизвестной причины на вторую неделю брака. Она не любила вспоминать о муже и стала вновь носить девичью фамилию.

Бравый пристав, невзирая на свое семейное положение, довольно откровенно пялил сладкие глаза на ее высокую грудь, чуть-чуть открытую.

Она же — нечего греха таить — слегка заигрывала с самим хозяином. Угощал хозяин всякими закусками: край богатый, сытный, и денег у купца невпроворот. Нельмовые пупы жирнущие, вяленое, отжатое в сливках, мясо, олени языки, сохатинные разварные губы, а потом всякие кандибоберы заморские и русские, всякие вина — английских, американских, японских погребов.

Гости осмелели, прожорливо накинулись на яства — говорить тут некогда, — громко, вкусно чавкали, наскоро глотали, снова тыкали вилками в самые жирные куски, и некоторых от объедения уже бросило в необоримый сон.

Но это только присказка. И лишь пробили стенные часы десять, а под колпаком — тринадцать, вплыла в комнату сама именинница, кротко улыбаясь бесхитростным лицом и всей своей простой тихой, в коричневом платье, фигурой.

— Ну, дорогие гостеньки, пожалуйста поужинать... — радушно сказала она. — Гуляйте в столовую, гуляйте.

Все вдруг смолкло: остановились вилки, перестали чавкать рты.

— Поужи-и-нать? — хлопнул себя по крутым бедрам отец Ипат, засвистал, присел, потешно схватившись за бородку. — Да ты, мать, в уме ли? — И захохотал.

Пристав закатился мягким, благопристойным смехом и, щелкнув шпорами, поцеловал руку именинницы.

— Пощадите!.. Что вы-с... Еле дышим...

— Без пирожка нельзя... Как это можно, — говорила именинница. — Анфисушка, отец Ипат, пожалуйста, пожалуйста в ту комнату. Гуляйте...

Всех охватило игривое, но и подавленное настроение: животы набиты туго, до отказа, — отродясь такого не было, чтобы обед, а после обеда — этакая сытная закуска, а после закуски — ужин...

Крестьяне стояли, выпучив глаза, и одергивали рубахи; их жены икали и посмеивались, прикрывая рот рукой.

Однако, повинувшись необычному гостеприимству, толпой повалили в столовую. Низкорослый толстенький отец Ипат дорогой корил хозяина:

— А почему бы не предупредить... Я переложил дюже... Эх, Петр Данилыч!.. А впрочем... Могий вместити да вместит... С чем пирогот? С осетром небось? Фю-фю... Лю-ю-блю пирог.

За столом шумно, весело. Поначалу как будто гости призадумались, налимяю уху кушали с осторожностью, пытая натуру: слава богу, в животах полное благополучие, для именинного пирога места хватит. А вот некоторые в расчетах зело ошиблись, и после пятого блюда, а именно — гуся с кашей, отец Ипат, за ним староста и с превеликим смущением сам господин пристав куда-то поспешно скрылись, якобы за платком в шинель или за папиросами, но вскоре пожаловали вновь, красные, утирая заплаканные глаза и приводя в порядок бороды.

— Анфиса Петровна! Желая выпить... только с тобой. Чуешь? — звонко, возбужденно говорил хозяин и тянулся чокнуться с сидевшей напротив него красавицей-вдовой.

— Ах, чтой-то право, — жеманилась Анфиса, надменно, со злой усмешкой посматривая на именинницу.

— Ну, не ломайся, не ломайся... Эх ты, малина!.. Ведь я тебя еще девчонкой вот этакой, голопятенкой знавал...

— А где-то теперича Прошенька наш? — вздохнула Марья Кирилловна, усмотрев, как моргает нахальная вдова купцу, а тот...

— Прохор теперь большо-о-й, — сказал отец Ипат, аппетитно, с новым усердием обгладывая утиную ножку. — Надо Бога благодарить, мать... Вот чего.

— Да ведь край-то какой!.. А он — мальчишка, почитай.

— Смелым Бог владеет, мать... Поминай в молитвах, да и все.

— Вы помяните у престола, батюшка...

— Помяну, мать, помяну... Ну-ка, клади, чего там у тебя? Поросянок, что ль? Смерть люблю поросятину... Зело борзо!..

— А ну, под поросенка! — налил пристав коньяку. — Хе-хе-хе!.. Ваше здоровье, дражайшая! — крикнул он и так искусно вильнул глазами, что на его приветствие откликнулись сразу обе женщины: «Кушайте, кушайте!» — Анфиса и Марья Кирилловна.

— А поросенок этот, простите бога ради, доморощенный? — поинтересовался старшина, которого начало изрядно пучить, — отличный поросенок... Видать, что свой... Вот у меня в третьем годе...

— Анфиса!.. Анфиса Петровна!.. Настоящая ты пава...
— Кто? Кто такой?
— Прошенька-то ведь у меня единственный...
— Ах, хорош, хорош паренек, простите великодушно.
— Петрован!.. Слышь-ка... Данилыч... Эй! хозяин!
— Погодь! Дай ему с кралей-то, — развязали языки крестьяне.
— Эх, на тройках бы... Анфиса! А?
— На тройках?.. Зело борзо!.. — вскрикнул веселый отец Ипат. —
Мать, чего там у тебя еще?..

Притащили гору котлет из рябчиков.

— Мимо... не желаем!.. — закричал белобородый румяный старик. — Ух, до чего!.. Аж мутит.

— Нет, мать... Ты этак нас окормишь.

— Кушайте, дорогие гости, кушайте.

— Ешь, братцы, гуляй!.. Царство небесное родителю моему...

Капиталишко оставил подходящий...

— А ты на Церковь жертвуй! Духовным отцам своим.

— На-ка выкуси! Хха-ха!.. Мы еще сами поживем... Анфиса, верно?

— Наше дело сторона, — передернула та круглыми плечами.

— А вот киселька отведайте!.. С молочком, с ватрушечками.

Получайте.

— А подь ты с киселем-то... Ну, кто едет?.. Эй, Гараська! Крикни кучеру... Тройку!..

— Постыдись! — кротко сказала жена, сдерживая раздражение.

— К черту кисели, к черту!..

— Нет, Петр Данилыч... Погоди, стой... До киселька я охоч... —

И священник, икая, наложил полную тарелку.

— Господа, тост!.. — звякнул пристав шпорами и, браво крутя ус, покосился на ясное, загоревшееся лицо Анфисы. — Уж если вы, Петр Данилыч, решили широко жить, давайте по-благородному. Тост!

— К черту тост! К черту по-благородному! — махал руками, тряс кудлатой бородой хозяин. — Тройку!.. Анфисушка, уважь...

— Постыдись ты, Петруша... Людей-то постыдись...

— Людей?! Ха-ха!.. — И, вынув пухлый бумажник, хлопнул им в ладонь. — Во!.. Тут те весь закон, все люди...

После ужина затеяли плясы. Но у плясунов пьяные ноги плели бог знает что, и от обжорства всех мутило. Отец Ипат, выставив живот, тяжело пыхтел в углу, вдавившись меж ручек кресла.

— Обкормила ты нас, мать, зело борзо. Ведь этакой прорвой пять тысяч народу насытить можно...

— Едем! — появился Петр Данилыч в оленьей дохе и пыжиковой, с длинными наушниками шапке. — Анфиса! Батя!..

И в тесной прихожей, где столпившиеся гости тыкались пьяными головами в чужие животы, в зады, Петр Данилыч громко, чтоб все слышали, говорил оправлявшей пуховую шаль вдове:

— Хотя я, может, и не люблю тебя, Анфиса... при всех заявляю и при тебе равным манером, отец Ипат... Что мне ты, Анфиска? Тьфу!.. Из-под дедушки Данилы горшки носила. Ну, допустим, рожа у тебя... это верно что, и все такое, скажем, в аккурате... Однако едем кататься вместе. Назло бабе своей. Реви, фефела, реви... Едем, Анфиска!!!

Под звездным небом все почувствовали себя бодрее. Отец Ипат прикладывал к вискам снег и отдувался.

Тройка вороных смирно ждала.

— Марковай, слезовой! — шуточно проблеял батя кучеру Марку, копной сидевшему на козлах в вывороченной вверх мехом яге и собачьих мохнатках.

— Слезовай, Марковай!

— А ты сам, батя, что ли?.. Мотри, кувырнешь хозяина-то, — докарабкалась с козел, бухнула в сугроб копна.

— Ну, скоро вы? — горел нетерпением купец.

— Живчиком!.. Марковай, ну-ка засупонь меня... Не туго!.. Пошто туго-то?! — хрипел отец Ипат. — Аж глаза на лоб. Уф!.. Ну и нажрался... — Перетянутый кушаком по большому животу, он взгромоздился на козлы, забрал в горсть вожжи и, взмахнув кнутом, залихватски свистнул: — Ну-у, вы!.. Богова мошкара... фють!!

Гладкие кони закусили удила, помчались. На первой же версте, на повороте, сани хватились о пень, седоки врезались торчмя в глубокий сугроб, а тройка, переехав священника санями, скрылась.

— Править бы тебе, кутья прокислая, дохлой собакой, а не лошадыми! — выпрастывая из снега хохотавшую Анфису, сердился Петр Данилыч.

— Но, но... Ты полегче... — подбирая меховую скуфью с рукавицами, огрызался отец Ипат. — И не на таких тройках езживали.

Вся сельская знать, бывшая на именинах, мучилась животами суток трое. Отец Ипат благополучно отпился огуречным рассолом, пристав перепробовал все средства из походной аптечки Келлера, староста выгонял излишки баннным паром, редькой.

А сам хозяин неделю ходил с завязанной шеей и не мог поворотить головы.

— Ямщикок!.. Чертов угодничек! — брюзжал он на попа.